



В. С. ЯНОВСКИЙ

Из книги «Поля Елисейские. Книга памяти»

Большие, парадные вечера — смотры парижской литературы — обычно устраивались в зале Географического общества (метро «Сольферино») ... Туда еще стекались эмигранты времен Герцена и Мицкевича. Там же Адамович давал свой «бенефис» и, чтобы заинтересовать публику, приглашал для участия в прениях Керенского или Мережковского. Помню сводный франко-прусский диспут с Андрэ Жидом, после его поездки по советской России (когда возмущенная молодежь кричала Мережковскому: «Cadavre! Cadavre!» *)

Лекции «Современных записок» тоже связаны с этим помещением; и Фондаминский по привычке его снимал для всех людных собраний — например, когда Сирин читал в Париже¹.

Последнего большинство из нас увидали именно там, на эстраде. Я пришел явно с недоброжелательными поползновениями; Сирин в «Руле» печатал плоские рецензии и выругал мой «Мир»².

В переполненном зале преобладали такого же порядка ревнивые, завистливые и мстительные слушатели. Старики — Бунин и прочие — не могли простить Сирину его блеска и «легкого» успеха. Молодежь полагала, что он слишком «много» пишет.

Следует напомнить, что парижская школа воспитывалась на «честной» литературе. Что, разумеется, похвально, если за писателем имеются еще другие бесспорные заслуги. Но «честность» в Париже одно время понимали очень упрощенно, решив, что это исключает всякую фантазию, выдумку, изобретательность. Обвинять только Адамовича в этом не следует: он дал

* Труп! Труп! (фр.). — Ред.

первый толчок, остальные уже докатились до абсурда, самостоятельно.

Ссылались главным образом на Толстого, забывая, что у него мерин по ночам рассказывает жеребьям свою биографию, а заодно и сложные похождения барина... Какая, в сущности, неудачная «форма».

Сирий в области «выдумки» шел из иностранной литературы и часто перебарщивал, наивно полагая, что в каждом романе должен быть «фокус», ребус, подлежащий разгадыванию...

Читал он в тот раз главу из «Отчаяния», где герой совершенно случайно встречается свое «тождество» — двойника. Тема старая, но от этого не менее злободневная. От «Двойника» Достоевского до «Соглядатая» того же Сирина всех писателей волновала тайна личности. Но, увы, публика кругом, профессиональная, только злорадствовала и сопротивлялась.

Для меня вид худощавого юноши с впалой (казалось) грудью и тяжелым носом боксера, в смокинге, вдохновенно картавящего и убедительно рассказывающего чужим, враждебным ему людям о самом сокровенном, для меня в этом вечере было нечто праздничное, победоносно-героическое. Я охотно начал склоняться на его сторону.

Бледный молодой спортсмен в черной паре, старающийся переубедить слепую чернь и, по-видимому, даже успевающий в этом! Один против всех, и побеждает. Здесь было что-то подкупающее, я от всей души желал ему успеха. И это несмотря на то, что у Сирина рядом с культурой писателей уровня Кафки и Джойса уживается и... пошлость Викки Баум³.

Увы, переубежденных после этого вечера оказалось мало. Стариков образумить невозможно, хоть кол теши у них на тмени. Проморгал же Бунин и Белого, и Блока. Поэтам же нашим вообще было наплевать на прозу; они вели тяжбу с Сириным за его стихи, оценивая последние в духе виршей Бунина, приблизительно.

А общественники в один голос твердили: «Чудно, чудно, но кому это нужно...»

Так, однажды на собрании советских студентов, в том же зале Лас-Каз, выступали московские писатели... Федин, холодноватый, вежливый, немного похожий манерами на Фельзена; Всеволод Иванов, хитрый, осторожный мужичок, со смачным русским говором; Тихонов — солдат из своих баллад; Киршон — с толстой бурой шеей, больше всех партийно озабоченный и вскоре расстрелянный; подловатый Эренбург; Бабель, по внешности, краскам и дикции похожий на Ремизова и на Жа-

ботинского. После их чтения или докладов позволялось подавать записки с вопросами; и я неизменно осведомлялся: «Что вы думаете о зарубежной литературе?» Бабель ответил совершенно честно:

— Тут некоторые пишут чрезвычайно ловко, даже с блеском. — Все поняли, что речь идет о Сирине, печатавшем тогда свое «Приглашение на казнь». — Но к чему это? У нас в Союзе такая литература просто никому не нужна.

Вот традиционный сволочной критерий. Очень скоро сам Бабель со своими фаршированными закатами оказался в нужнике!

Когда Сирин переселился во Францию, Фондаминский, любивший преувеличивать, зловеще нам сообщил:

— Поймите, писатель живет в одной комнате с женою и ребенком! Чтобы творить, он запирается в крошечной уборной. Сидит там, как орел, и стучит на машинке.

Этим, конечно, нас нельзя было удивить: у многих в Париже и уборной своей не было. Мне это напомнило англичан, восхищавшихся подвигами Ганди, когда он питался только козьим молоком и лимонным соком... Мне индусы говорили, что по их условиям жизни молоко и лимон огромная роскошь: миллионы туземцев жуют только дюжину зерен риса в день. Кстати, один тибетский старец упрекал даже Махатму за то, что он позволил себе вырезать аппендикс, считая хирургию блажью и снобизмом.

После «Приглашения на казнь», которое мне очень понравилось, я сказал Набокову за чаем у Фондаминского:

— А ведь эта вещь сильно под влиянием Кафки.

— Я никогда не читал Кафку, — заявил в ответ Набоков и хотел еще что-то прибавить...

(Но в это время, одетый в парусиновые туфли и легкий макинтош, к нам приблизился Сирин, и Набоков отвернулся.)

Ходасевич, которому я передал эти слова романиста, осклабил:

— Сомневаюсь, чтобы Набоков чего-либо не читал.

(О силе и способностях последнего уже слагались легенды.) Был Набоков в Париже всегда начеку, как в стане врагов, вежлив, но сдержан... Впрочем, не без шарма! Чувства, мысли собеседника отскакивали от него, точно от зеркала. Казался он одиноким, и жилось ему в общем, полагая, скучно: между полосами «упоения» творчеством, если такие периоды бывали. Жене своей он, вероятно, ни разу не изменил, водки не пил,

знал только одно свое мастерство; даже шахматные задачи отстранил.

Читая про грустную, маниакальную жизнь Томаса Вулфа⁴, часто вспоминаю Набокова. Впрочем, у последнего — семья.

Предел недоброжелательства к Набокову обнаружился, когда Фондаминский ставил его пьесы; самого автора тогда не было в Париже⁵. И бедный Фондаминский почти плакал:

— Это ведь курам на смех. Сидят спереди обер-прокуроры и только ждут, к чему бы придраться...

<...>

В «Письмах» Nabokov-Wilson (Ed. by Simon Karlinsky, Harper & Row, 1979) Эдмунд Вильсон, знаменитый американский критик и джентльмен, пишет Набокову:

«Июль, 1943. Человек по имени В. С. Яновский обратился ко мне за литературным советом. Он приложил маленький рассказ из “Новоселья”, который мне кажется неплох, и нелепый “сценарий” романа, который звучит, как будто был написан для смеха. Знаете ли Вы что-нибудь о нем? Он сообщает, что в “среде русской Франции он пользовался некоторой популярностью”».

Я послал Вильсону рассказ «Задание-выполнение» и краткое резюме «Портативного бессмертия».

Казалось бы, чего проще при этих условиях для русского джентльмена и писателя поддержать вновь прибывшего из Европы эмигранта и независимо от личных симпатий сказать влиятельному американцу: «Если Вам рассказ понравился, помогите литератору его напечатать».

Но нет. Это было бы слишком «пошло» для Набокова. Вот его ответ:

«Июль, 1943... О Яновском. Я часто встречал его в Париже, и это правда, что его работы оценивались положительно в некоторых кругах. Он he-man (...) Если Вы понимаете, что я имею в виду». Редактор или издатель писем поставил многоточие, обозначающее пропуск. Слово he-man трудно перевести, буквально — мужчина, пожалуй, грубый человек, солдафон.

И Набоков продолжает:

«Он не умеет писать. Мне случилось сообщить Алданову, что благодаря Вам я имею возможность печатать здесь свои произведения, и, надо полагать, об этом все узнали, и теперь Вы начнете получать множество писем от моих несчастных братьев (poor brethren)».

Бедный Набоков. Тут, пожалуй, следует напомнить, что он никогда никому никакой профессиональной помощи не оказы-

вал. Обо всех писателях, за исключением, быть может, одного Ходасевича, он отзывался с одинаковым презрением. Достоевский — «третьестепенный писатель», а «Война и мир», это я слышал от него в Париже, — «недоделанная вещь». Набоков принадлежал к тому весьма распространенному типу художников, которые чувствуют потребность растоптать вокруг себя все живое, чтобы осознать себя гениями. По существу, они не уверены в себе.

Достоин внимания следующий эпизод. В тридцатых годах в Париже Фельзен и я отправились в одно французское издательство к Габриэлю Марселю — узнать о судьбе наших книг.

Там в кабинете редактора мы застали уже собиравшегося выйти Сирина.

— Вот, — сказал философ (он тогда еще не был экзистенциалистом), — вот господин Сирин предлагает нам издать его произведение по-французски, — и он указал на свой длинный стол, где с краю лежало «Отчаяние».

Нам «Отчаяние» не могло нравиться. Мы тогда не любили «выдумок». Мы думали, что литература слишком серьезное дело, чтобы позволять сочинителям ею заниматься. Когда Сирин (на вечере в Лас-Каз) читал первые главы «Отчаяния» о том, как герой во время прогулки случайно наткнулся на своего «двойника» (что-то в этом роде), мы едва могли удержаться от смеха.

Тем не менее Фельзен, чистая душа, быстро и решительно отозвался:

— Я знаю эту книгу. Это очень хороший роман.

На что стройный в те годы Сирин низко поклонился своим несчастным собратьям (poor brethren) и сказал:

— Merci beaucoup.

Но это уже глава из новой книги — на другом континенте, даже полушарии. А то Замечательное Десятилетие кончилось и стало достоянием истории.

Братья, сестры последующих боен и мятежей, услышите ли вы наш живой голос?

Не жизни жаль с томительным дыханием.
 Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
 Что просиял над целым мирозданием
 И в ночь идет, и плачет, уходя...

